

Тендряков В. Люди или нелюди

НАРОД м. люд, народившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением; чернь, простолудье, низшие, податные сословия; множество людей, толпа.

В. Даль. Толковый словарь

Человек с ласковым взором несчастен, доброго везде презирают. Человек, на которого надеешься, бессердечен. Нет справедливости. Земля — это приют злодеев.

Из древнего египетского манускрипта

1

Я дважды в жизни пережил редко и прекрасно чувство любви. Нет, не к женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они добры к друг другу, душевно красивы.

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным январским вечером 1943 года.

Я возвращался из дивизионных мастерских, в противогазной сумке нес заряженный аккумулятор для своей радиостанции. И не то чтобы я заблудился... Просто, пока я торчал в тылу, шло наступление, стрелковые роты, штабы, минометные и артиллерийские батареи двигались вперед. Целый день все менялось и перемешивалось, сейчас остановилось на ночь. Солдаты долбили мерзлую землю, как могли укрывались от шальных пуль, от мин, от холода, кому повезло, попрятались в оставшихся после немца землянках. И сумей-ка теперь разыскать своих.

Я шатался по степи, натываясь на чужие подразделения.

— Случаем, не знаете, где штаб Сорок четвертого?..

От меня отмахивались:

— Тут нет. Топай, друг, не маячь.

И я снова выходил в степь, заснеженную, взорванную воронками. Ночь устало переругивалась выстрелами. Там, где невнятная степь смыкалась с черным низким небом, тускло сочилились отсветы далеких пожаров — сальные пятна сукровицы израненной планеты. Не видишь, но кожей чувствуешь, что земля под серым снегом начинена железом, рваным, зазубренным, уже не горячим, остывшим, потерявшим свою злую силу. Это невзошедшие семена смерти. Чуть ли не на каждом шагу торчит или

вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокаленная каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом.

Я привык к трупам, они давно для меня часть быта, ненужная, как для лесоруба старые пни. А когда-то содрогался при виде их...

И вот на этом бескрайнем поле, покинутом всеми, я увидел еще одно бесприютное живое существо. На сукровичное пятно далекого пожара из темноты выковыляла лошадь, на трех ногах, нелепо кланяясь при каждом скаке. Выковыляла и стала понуро — любуйся всласть: голова уронена, натруженная холка выпирает горбом, обвислый зад, страдающе поджата перебитая нога. Ранена и брошена, всю жизнь работала, нажила горб, теперь — не нужна, лень даже пристрелить, зачем, когда и так подохнет от голода, холода, кровотокающей раны.

Я привык к человеческим трупам, но выгнанная на смерть и продолжающая жить с понурым упрямством лошадь обожгла меня жалостью. А нет ничего опаснее жалости на войне.

Некто окаменевший в снегу с вывернутым локтем. Вывернутый локоть значит, пытался встать, стонал, ждал помощи и... как не пожалеть его. Нет, не смей!

За жалостью сразу придет мысль: ты сам не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — ты с вывернутым локтем, с застывшим оскалом, с невыдавленным стоном. И уж тут-то день за днем пойдут в кошмаре ожидания. Ты заранее почувствуешь себя погибшим, на тебя найдет сонная одурь, будешь вяло двигаться, не кланяться под пулями, не припадать к земле при звуке летящего снаряда, неохотно долбить окоп — зачем, все одно конец. И такой очумелый долго не протянет — не свалит осколок, доконает мороз.

Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!

Я не заметил, как одеревенел. Вот привык к трупам — старые пни в лесу...

Трупы привычно, а выгнанная на смерть рабочая лошадь, знать не знающая о великом сумасшествии, неведающая, непричастная, слепо доверчивая, живая военная бессмыслица, нет, не привычно. К тому же я очень устал, а потому не выдержал, отравился опасной жалостью.

Отравленная мысль, как всегда, метнулась к спасительному: "Вот кончится война!.." И споткнулась... "Да, кончится. Может, ты и выживешь... Ты, привыкший к трупам — старые пни в лесу! Выживет,

может, и тот, кто выгнал лошадь... Выживете, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить вам потом — порченным среди порченных? Неужели ты думаешь, такая страшная война выветрится из тебя, из других? Выветрится без следа?.. Да оглянись кругом, разве такое не может навсегда войти в душу. Может! Войдет!"

В тусклом отсвете потустороннего пожара горбатилась рабочая коняга — среди окоченелости комков стынущей плоти, лишняя вещь на земле. И я себя в ту минуту тоже почувствовал лишним — кому буду нужен такой, отупевший от войны! Будущее казалось столь холодным, столь неуютным, что даже надежда "А вдруг да выживу!" — никак не радовала, а пугала. Я едва ли не завидовал тем, кто уже лежит в снегу, накряввшись прокаленной морозом каской.

Но мерзли ноги в сапогах и в рукава шинели пробирался колючий ветер — я жил и надо было исполнять солдатские обязанности, искать штаб своего полка. Я двинулся дальше среди воронок и трупов — к людям! Оставив в одиночестве лошадь — не нужна миру, мне тоже...

Через сотню метров я наткнулся па землянку.

Густой воздух, жирно пахнувший парафином от горящих немецких плошек и тем прекрасным, оглушающим с мороза, едким до слез запахом солдатских портянок, овчины, пота, мокрых валенок, который — хошь, не хошь, — а с такой покоряющей силой доказывает неистребимость жизни, что заставляет забывать о войне. И этот густой — топор вешай — воздух колеблется от мощного, переливчатого, с изнеможенными стонами, с восторженными захлебами храпа. Так упоенно спать могут лишь солдаты, которым не каждую-то неделю удастся растянуться в тепле во весь рост. А здесь даже многие скинули с ног валенки, недаром же среди всех прочих запахов победно господствует портяночный. И, колеблемые храпом, шевелятся огоньки плошек, и сквозь накат, через толщу земли смутно-смутно доносятся вой и похлесты поземки, гуляющей по снежной степи. Нет, что ни говори, а райский уголок, обиталище счастливцев.

Счастливцы лежали вповалку на полу, тесно друг к другу — ладонь не просунешь. От стены к стене, под нарами, на нарах, всюду — буйное пиршество сна.

Один счастливец не спал, голый по пояс (во как тепло!), освободив дородные и уже немолодые телеса, самозабвенно, с явным наслаждением бил вшей в нательной рубаше, и отсветы качающихся огоньков от плошек хороводились на его лысеющем, без малого ленинском, лбу.

— Эй, ты! Дверь! — крикнул он, отрываясь от рубахи, но тут же подобрел голосом: — Радист! Ты как сюда?..

Я узнал его — дядя Паша из комендантского взвода, постоянно торчал на часах у землянки штаба полка, недавно его вместе с помощниками поваров, химвзводниками, хозяйственниками направили в стрелковую роту. В ротках повыбило людей.

Значит, я все-таки добрался до своих.

— Проскочил ты штаб полка, парень, обратно придется топать. Да это недалече, километра три. Рядом батальонные связисты, от них по кабелю — не собьешься. Покуда лезь сюда, погрейся. — Дядя Паша потеснился.

Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и внятно посылали меня по матушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под нарами и выполз на свет плашек. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый, в просторном, сумеречного сукна мундире с бляшками-пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, словно хотел сказать: "Извините, пожалуйста, что я вас так удивил".

— Что это? — не выдержал я.

Круглая мясистая физиономия дяди Паши раздвинулась в ухмылке:

— Вот обзавелись... Третьеводни, смех и грех, среди ночи с кухней на нашу позицию въехал. Заблудился в степи и — наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в штаб, да там нынче не очень-то нуждаются в таких «языках». Вот и прижился... Рад поди, Вилли, что отвоевался?..

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское простодушие на щекастом лице — лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибки, чутьем угадывал — кто моложе меня.

По землянке прошла волна холодного воздуха.

— Эй, Вилли! Якушин пришел, встречай, — объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху.

Приземистый солдат — из-под вязаного заиндевелого подшлемника лишь воспаленные глаза — переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. Наконец он, втискивая заснеженные валенки между телами, подошел к нам, стянул с головы морозную каску, оказался в

ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости мужицкое, обильно губастое лицо.

А Вилли тем временем успел нырнуть под нары, вытащил оттуда объемистый узел, стал суетливо его разворачивать — ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое полотенце — и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок.

Якушин довольно хмыкнул, потер узловатые красные руки, непослушными пальцами выудил из валенка ложку.

— Ишь ты, заботушка — теплое... — Потеснив меня, он сел на край нар, сурово приказал Вилли: — Садись!

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался.

— Кому говорят?.. Навернем сейчас на пару.

Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину.

— Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж...

И Вилли смущенно пристроился к котелку.

Немецкий парнишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажненным добрым взглядом.

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склоненные головы:

— Хороший парень Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут.

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно таяла тяжелая вселенская тоска, которую я принес сюда со взрытой снарядами, заваленной окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшило: она кончится, а жестокость останется. И вот — голова к голове над одним котелком...

Немец начал эту войну, трупы в степи — его вина, велика к нему ненависть, даже у поэта в стихах: "Убей его!" А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу с немецким пареньком.

Война пройдет, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулеметы, а уже двое врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость?

Голова к голове, ложка за ложкой и — хлеб пополам.

Кончится война, и доброта Якушина, доброта Вилли — их сотни миллионов, большинство на земле! — как половодье, затопит мир!

Навряд ли я тогда думал точно такими словами. В девятнадцать лет больше чувствуют, чем размышляют. Я просто задохнулся от нахлынувшей любви. Любви к Якушину, к Вилли, к дяде Паше, к храпящим солдатам, ко всему роду людскому, который столь отходчив от зла и неизменчив к добру. Слезы душили горло. Слезы счастья, слезы гордости за все человечество!

Я вырос атеистом, не читал тогда Евангелия от Матфея, не знал слов из Нагорной проповеди: "Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?"

Но кажется, в ту минуту я сам собой до них дозрел, с наивной страстью простодушно верил в невозможное.

2

Второй раз нечто подобное случилось четырнадцать лет спустя в Пекине.

Я был в составе так называемой культурной делегации Общества советско-китайской дружбы. Мы летали по всему Китаю, и всюду нас встречали пышно, бурно, празднично — толпы, цветы, восторженные лица, страстно тянущиеся руки, церемонно длинные обеды с бесконечной чередой блюд, экзотических до несъедобности. Вкушали змей с хризантемами, пробовали ласточкины гнезда, пили рисовую водку — вкус самогона — за вечную дружбу, братство, за общий путь до конца, и гостеприимные хозяева кричали нам: "Гамбей!"

По европейскому календарю наступал Новый, 1957 год. Китайцы свой Новый год празднуют весной. Но почему-то в наш праздник нас не предоставили самим себе — мол, отдохните от встреч, выпейте, закусите, поздравьте друг друга — наоборот, решили усиленно показывать нас молодежи.

Ритуальные беседы за чаем, трибуны, речь о великой дружбе двух великих народов. Попадаем в недавно организованный Пекинский институт кинематографии. Должно быть, в этот институт принимают не по таланту, а по стати. Нас встречают не по-китайски рослые, разбитные и жизнерадостные парни, одетые, как один, в безупречные европейские вечерние костюмы. И девушки в костюмах национальных — яркие шелка, золотое шитье. Столько красавиц, собранных вместе, я не видел в своей жизни — и до, и после, увы! Были и величавые, до оторопи, до зябкости — мраморные в горделивой посадке тонкие лица, на вскинутых, утонченно чеканных бровях покоится непомерная спесь Востока, чужеватый разрез глаз прекрасен, как непостижимое мастерство древнего азиатского ремесленника, и нет плоти, есть воздушность, нет походки, есть плавучесть. Но были и с той щемящей одухотворенностью, не столь красивы, как просты, не бьющие в глаза с налету, а лишь останавливающие взгляд затаенной добротой, и... ты уже непоправимо несчастен, твое сердце тоскливо сжимается — такое вот чудо человеческое, мелькнув раз, пройдет мимо тебя!..

Традиционные кружки чая, но вместо традиционных речей — танцы.

Мне, право же, стыдно за себя и обидно — экий пентюх! Как-то так получилось, что я всегда оказывался в стороне от танцплощадок. Сказать — не поверят: ни разу в жизни не танцевал!

Однако мне не дают сидеть бирюком, подходят.

— Товалис...

И взгляд в зрачки, и ожидание, и просьба.

Стыд. Но сильнее самого стыда — страх перед стыдом грядущим: вдруг да, черт возьми, осрамлюсь!

И надменнобровая красавица с легким удрученным румянцем отплывает от меня. Обидел ее! Надо же!

Новый танец, и снова:

— Товалис...

И взгляд в зрачки. И надежда... А эта из тех — земных, не воздушных, одухотворенных добротой. Да вались все в тартарары! Была не была!

И я впервые в жизни выхожу с намерением совершить ритуальные движения под музыку. И, к своему удивлению, с грехом пополам совершаю, хотя и костенею плечами, поджимаю живот к позвоночнику, стараюсь, стараюсь до испарины.

Но не завидую больше ни старому Валентину Катаеву, плавающему среди кружащихся нар, как рыба в воде, ни нашему степенному главе делегации, президенту Академии педнаук Каирову, теснящему толстым животом некое сверхвоздушное создание. И мы, братцы, не лыком шиты!

— Кал-ла-со! Кал-ла-со!

Господи! Меня поняли, меня подбадривают! Славная ты моя, спасибо тебе за доброе слово, только, ради бога, береги свои маленькие ножки — никак не поручусь за себя.

Я готов танцевать и дальше, лиха беда начало, но...

Уже несколько раз к каждому из нас склоняются китайские товарищи из нашей свиты, почтительнейше шепчут:

— Нас ждут в Педагогическом университете.

Опять трибуна, опять речи о нерушимой дружбе — не больно-то охота, сегодня же у нас праздник. Мы дружно и горячо высказываем желание остаться здесь.

— Надо ехать, надо...

Скорбные покачивания головами, понимающе поджатые губы, полнейшее сочувствие, однако:

— Надо! Нас ждут. На два часа опаздываем.

Вкрадчивая китайская вежливость побеждает русское упрямство: "А, черт! Надо так надо! Пошли — все равно не отцепятся!"

Подъезжая к Педагогическому университету, мы невольно переглядываемся друг с другом и... прячем глаза, поеживаемся. Нас ждут — да! Целая толпа. Ждут уже два часа, если не больше. Ждут на морозе — Пекин не Кантон, зима здесь нешуточная, а одежонка всех китайцев, тем более студентов — ситчик на рыбьем меху. Нас ждут, и вопль восторга встречает нас. Толпа хлынула, только что не бросаются под машины, все стараются заглянуть в окна, поймать наш взгляд, хоть на секунду, хоть на миг показать счастливое — сплошная улыбка! — лицо. Добровольцы-активисты теснят толпу, иначе не откроешь дверцы машин, мы, закупоренные общим восторгом, не сумеем выбраться наружу.

Один за другим вылезает, и к каждому из нас тянутся руки, десятки рук с отчаянной страстностью, через головы впереди стоящих. Нам не рекомендуют, да мы и сами не решаемся пожимать их. Протянутых рук всегда столько, что церемония рукопожатия может затянуться на добрый

час, а мы и так безбожно опоздали. Нас ждут не только эти встречающие энтузиасты. И мы снова виновато переглядываемся — экие сукины дети, засиделись у веселья.

Толпа выдавливает из себя тщедушного студентика с посиневшим от ожидания лицом и мученически вскинутыми бровями — все ясно, выдающийся знаток русского языка, которому надлежит приветствовать высоких гостей. Оттого-то мученически и задраны его брови.

Он встает перед нами, некоторое время собирается с духом, наконец размеренно изрекает:

— Добы-ро пожа-лу-ват, до-ро-гие то-ва-риш-ши! — И сразу же бойко спрашивает: — Что?! — То есть не совсем уверен, то ли сказал.

А так как мы с готовностью слушаем, он продолжает, почти четко, без запинки:

— Вы наши братья!.. Что?!

На этом запас его русского красноречия иссякает, мы жмем ему руки, для ободрения хлопаем его по плечу, и он нас ведет, правда, сначала совсем не в ту сторону, но бдительная толпа и возгласами и тесным напором исправляет его смятенную ошибку, поворачивает на нужный путь.

Нас пытаются усадить за чай, но в воздухе разлито лихорадящее нетерпение, им заражены мы, заражаются и наши хозяева. Кружки с чаем остаются нетронутыми. Поспешно ведут на сцену...

Зал взрывается аплодисментами. Зал... Едва я кинул в него взгляд, как почувствовал, что встречаюсь с чем-то небывалым для меня, столь властным, чего я не чувствовал ни в одной аудитории.

А мы облетели уже большую часть Китая, в каждом городе, в каждой провинции — по несколько митингов. Мы привыкли к китайскому многолюдью и сборищам в две, даже в три тысячи нас не удивишь, всюду — восторженность, жадное внимание, щедрые аплодисменты.

Здесь, в общем-то, не так уж и много народу — может, тысяча, может, чуть больше. Не всех желающих вместил этот зал, но вместить еще — хотя бы одного человека — он уже не в состоянии. Никаких скамей, никто не сидит, все плотно стоят. Все вокруг донельзя туго набито лицами. Каждое повернуто на тебя, от каждого истекает напряженное ожидание чего-то особого, непременно счастливого. Лица сливаются в нечто единое, монолитное, а поэтому истекающее от них ожидание тоже столь

слитно едино, что обретает плоть, я его физически чувствую, мне почти больно.

И как они умудряются еще аплодировать в такой тесноте?

Но аплодисменты стихают, а ожидание возрастает — до взрывоопасности!

Я случайно кидаю взгляд на самый первый ряд, на тех, кто вплотную придавлен к сцене. Лица рядом, от моих ботинок — один шаг, рукой дотянись. Лица девчонок с сияющими глазами. На них нет национальных красочных одежд, они в затасканных, застиранных хлопчатобумажных робах, в которых ходит весь Китай, мужчины и женщины, рикши и министры. Но почему-то девочки кажутся празднично нарядными. От светлых улыбок, от сияющих глаз?..

Не только.

Они и в самом деле принарядились. Как могли, каждая. У одной в черных волосах кокетливый бантик, у другой цветная косыночка на шее, у третьей ворот затасканной робы расстегнут и старательно расправлен, чтоб видна была белая глаженная кофточка. Очень белая, очень чистая, похоже, что шелковая, не для каждого дня.

И меня оглушает простая мысль: они стоят в первом ряду, в самом первом! Но, чтоб занять этот ряд, девочки должны прийти сюда не два часа назад, ко времени назначенной встречи. Чтоб быть ближе к нам, девочки явились сюда, по крайней мере, часа за четыре. Целых четыре часа, добрую половину рабочего дня они стояли и ждали, ждали, ждали.

Чего?

Чтоб увидеть меня и моих товарищей, людей весьма заурядной наружности? Может, они читали наши книги — Валентина Катаева, мои, — с девичьей экзальтированностью полюбили нас? Ой нет, не так-то мы известны в Китае, нас едва знают профессионалы, те, кто специально занимается русской литературой. А уж девочки-то наверняка и не слышали наших фамилий. Но что-то заставило их ждать четыре часа. Никто не требовал от них этой жертвы, не организаторы же вечера принудили нацепить кокетливые бантики, повязать праздничные косыночки. Мы им нужны. Ждали, ждут! Ждет и оглушает нас своим требовательным, счастливым ожиданием переполненный зал. Каждое лицо словно излучает свет. Тысячи направленных на тебя лиц, больно от их мощного света — слепят, сжигают. Все замерло, как перед чудом.

И позднее я ни разу не испытывал на себе столь сплоченное, любовное да, любовное, нельзя назвать иначе! — людское внимание.

Наверное, только выдающиеся пророки и великие вожди испытывали такое. Мы не пророки и не вожди, ни наших имен, ни наших дел не ведают в этой стране. Почему нам это, испепеляющее?.. Почему?

Только теперь я как-то могу объяснить: мы тогда, были олицетворенной надеждой, наглядным будущим. Этим парням и девушкам настойчиво твердили, и они все с готовностью верили: впереди вас ждет земной коммунистический рай! Русские отвоевали его раньше, они уже люди будущего, почти что райские жители. Как пропустить встречу с ними, как не постараться встать к ним поближе, к ним, счастливым, чтобы увидеть воочию то, что ждет тебя! Здесь собралась только молодежь, из разных углов Китая, из разных слоев народа, нищего китайского народа, забитого, затравленного, надрывающегося в непосильном и неблагодарном труде. Народа, лишенного в течение тысячелетий даже каких-либо надежд. Молодежь легко убедить надеждой — грядущее прекрасно! Да окажись вы на их месте, в их возрасте, с их надеждами, разве не ринулись бы вы на встречу... с будущим?

Прав ли я?.. В тот момент я и не искал ответа. Ко мне повернуты лица, лица, лица. Зал распирает от счастливых молодых лиц. И кто-то не сумел сюда втиснуться. Здесь малая часть народа. Юная его часть. Молодость необъятного народа взирает на меня. И снизу, с расстояния в один шаг — девичьи сияющие глаза. От меня ждут... ждут великого. Если б я мог сейчас отдать свою жизнь! Что моя маленькая жизнь по сравнению с этим народным ожиданием?.. Если б мог!..

То же самое, должно быть, чувствовали и мои товарищи, я видел, как все они подобрались, подтянулись, вскинули головы, у каждого выражение почти трагической взволнованности. И подозрительно блестят глаза. Даже у Пети, стукача нашей делегации, который и раньше бывал в Китае с какими-то заданиями, хвалился нам, что сиживал за одним столом с Чан Кай-ши, ругал китайцев за темноту, за восточную лживость, за жестокость друг к другу. И этот Петя сейчас сдерживает слезы, как и я...

От любви к девочкам с сияющими глазами, от любви к тем, кто стоит за ними, к людям за этими стенами, людям этой страны, ко всем, всем людям на свете! Всемирно необъятное чувство, задыхаешься от него!..

3

О Бояны, соловьи старых и новых времен! Кто из вас, "скача по мыслену древу, летая умом под облакы", не воспевал народ?

Совесь народа, воля народа — нечто запредельно высокое, чему нет сравнения. Сила народа неисчислима, мудрость народа безгранична. От

него и только от него исходит та сокровенная доброта, которая и поддерживает жизнь на земле.

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, главным образом, русским: "...Потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение".

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе "В круге первом" не высокоученые и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина-Берии-Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его произносит старик сторож, представитель простого народа: "Волкодав — прав, людоед — нет!" Философское кредо объемистого романа.

Ну, а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямоотой объявляет:

Все, кто мыслит, — тот народ, Остальные — населье!

Гитлеровцы, сжигая в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих единомышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу "культурной революции", респектабельное правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы, — все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нем — и только в нем, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич.

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

Я пробыл в той живительно душной, упоенно храпящей землянке каких-нибудь полчаса, а казалось, набрался надежды на всю жизнь. Если только будет у меня эта жизнь, если посчастливится увидеть конец войны, то меня окружают люди, уставшие от крови и ненависти, истосковавшиеся по любви... И тогда немец повернется раскаянным лицом к русскому. И, как это ни невероятно — да, да! — матери простят им погибших сыновей, сыновья — потерянных отцов. Так нужно, так будет. Якушин, хлебавший из одного котелка с Вилли, — тому порука.

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли минометы, гулом отозвалась земля с чужой стороны — мы поднялись в наступление. Вперед к Сталинграду, где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко!

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову.

Средь придавленно плоской белой степи раскиданы черные, свежие углища, в каждом из них горбатится печь, даже трубы и те сбиты снарядами. По измятой гусеницами земле тянется нечистый дымок, угарно пахнувший горелым мясом, паленой шерстью. Брошенная гаубица глядит тупым рылом в невнятную просинь ясного зимнего неба и похожа на сидящую гигантскую собаку, только что не воет. И под ногами немецкие противогазы в жестянках, каски, игрушечно красивые ручные гранаты, как крашенные пасхальные яйца.

Хутор? Нет. След от него. Таких снесенных с земли селений осталось много за нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются.

Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался — косо торчит, сиротливо смотрится. Под ним плотно сбита, плечом к плечу, куча солдат — шинели, овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжелый ствол противотанкового ружья, — а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все краснолицы. Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении трудно чем-либо удивить.

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат.

Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах шинели, лицо вареное, бабье, тонко по-старушечьи причитает:

— Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя проклятущее!..

Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упрятанная в полушубок, вываливается из толпы, с минуту одурело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с усилием разгибается, на темной заросшей физиономии белые, невидящие глаза.

— Якушин! — узнаю я его. — Что тут?

Он, глядя слепым выбеленным взглядом мимо меня, выдавливает тяжелое ругательство:

— В бога, мать их! Миловался! Ну, теперя обласкаю!..

И, качнувшись, идет с напором, широкие плечи угрожающе опущены, каской вперед.

Спины с тощими вещмешками, в каждой напряженная сутулость. А за этими спинами мечется, как осатаневшая лиса в капкане, надрывно слезливый, с горловыми руладами голос:

— Брат-тцы! Любуйтесь!.. Брат-цы-ы! Это не зверье даже! Это!.. Это!.. Слов нету, брат-цы!..

Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперед, толкаюсь, цепляюсь автоматом, но никто не замечает этого, не огрызается.

Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в воздухе, обледенелая с наплывами земля. На толстой наледи — два странных ледяных бугра, похожих на мутно-зеленые, безобразно искривленные, расплзшиеся церковные колокола, намертво спаянные с землей, выросшие из нее. В первую минуту я ничего не понимаю, только чувствую, как от живота ползет вверх страх, сковывает грудь.

— Брат-цы-ы! Мы их в плен берем! Чтоб живы остались, чтоб хлеб наш ели!..

Я не могу оторвать взгляда от ледяных колоколов, лишь краем глаза улавливаю ораторствующего парня без шапки, с развороченной на груди шинелью.

И вдруг... Внизу, там, где колокол расплзается непомерно вширь, кто-то пешней или штыком выбил широкую лунку, в ее сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на очищенную вареную картофелину... Пятка! Голая смерзшаяся человеческая пятка! И сквозь туманную толщу, как собственная смерть из непроглядного будущего, смутно проступили плечи, уроненная голова — человек! Там — внутри ледяного нароста! Окруженный пышным ледяным кринолином. Перевожу взгляд на второй колокол — и там...

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения — наглухо запечатанные, стоящие на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти припаянные к земле колокола. Нет, нет! Не хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать нательное белье, покрывающее плечи тех, что внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, желтая, похожая на вареную смерзшуюся картофелину.

Простоволосый парень рвет на груди лацканы шинели, машет зажатой в кулак шапкой.

— Так их, брат-цы!.. Потроха вытягивать из живых!..

И кто-то угнетенно угрюмо, без запальчивости произносит:

— Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулось.

— Брат-цы-ы!!

А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо:

— Опсовели.

— И в войну знай меру...

— Того и себе, видно, хотят.

— Да мы ж их теперь!..

И осатанелый всплеск:

— Захаркают кровью!

— Потроха из живых!

— Так их в душу мать!

— О-о-о!

— У-у-у!

И я тоже вопил что-то злое и бессмысленное.

— Тих-ха!

На расползшуюся наледь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над ушанкой сжатые в рукавицах кулаки — дядя Паша,

непохожий на себя. На багровой физиономии раздуты белые ноздри, желтые прокуренные зубы в оскале.

— Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час покажем. Отольются кошке мышкены слезы!

— Отольются — жди!

— Покуда доберемся до них — подобреем!

— Всегда так — покричим да остынем!

— Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час приведут...

Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом на красном лице, неповоротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего отмщение. И я хотел этого отмщения, всей воспаленной душой, каждой взвинченной клеточкой негодующего тела.

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля:

— Веду-ут!!

Толпа протащила меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Еще не до конца понимая, еще ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую неуютность.

И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперед, на русой прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало к земле лицо, одеревенело бледное и щекастое — Вилли! Двое солдат заламывали ему руки — один незнаком, второй — пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин...

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву.

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накаленную толпу:

— Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку — сомнете. Живым его надо...

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил ногами, отступая шагком за шагком перед жертвой, захлебывался:

— Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, вежливенько!..

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из нее вылетали лишь советы, трезвые и беспощадные:

— Башку ему подымите, пусть посмотрит!

— Верно! Пусть знает — что за что!

— Проникайся, гад!

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули Вилли к колодцу на наледь. Он разогнулся, зеленый, как лед, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно не замечая ледяных колоколов.

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и восторженно, почти умиленно вздохнул:

— Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а!

Вилли глядел на напиравших людей, на обросшие, искаженные ненавистью солдатские лица. У Вилли была крупная голова и узкие, нескладные плечи под суконым мешковатым мундиром.

— Хватай! Раздевай! — приказал сурово дядя Паша.

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, не по-детски, даже не по-человечьи — сипло каркаяще, с захлебом.

Я уже не видел Вилли — закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные голоса:

— Ишь, сучье вымя, дергается.

— Держи, держи, я стяну...

— На колени ставьте!

И торжествующий возглас парня:

— Брат-цы! Воду!..

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками в автомат, попятился, натываясь спиной на суесящихся людей.

Нет, я не сорвал автомат с шеи, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали быть людьми, я их боялся.

Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружен каждый. Я трусливо пятился.

Склонялся и выметывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли.

5

Продолжение второй моей истории наблюдал в 1966 году китаевед Желоховцев.

Вот отрывок из его записок. (Ж е л о х о в ц е в А. "Культурная революция" с близкого расстояния". М. 1973.)

"У библиотеки соорудили высокий дощатый помост — не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамен на нем стоят выстроенные в шеренгу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные накидки, сплошь покрытые надписями. В руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: "Черный бандит".

— Склони голову! — вдруг услышал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека. Двое держали его под руки, а третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся.

Тогда конвойные остановились, стали осыпать осужденного бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаясь устоять. Проходившие по аллее студенты сгрудились вокруг жертвы.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и все наперебой стали пинать его ногами, но он не издал ни одного стона или крика.

Вдруг от собравшейся на судилище толпы отделились человек пять и бегом понеслись к нему, крича:

— Его будут судить массы. Ведите его сюда!

Разъяренная толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном крике мгновенно

дисциплинированно расступилась. Жертва недвижимо лежала на асфальте.

— Вставай! — крикнули подбежавшие студенты еле дышавшему человеку, подняли его и потащили к эстраде. Избитый из последних сил несколько раз пытался поднять голову, но, получив затрецины, беспомощно ронял ее снова. Я смотрел, как его вытащили на сцену и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и вlepили несколько увесистых пощечин, но тщетно. Тогда подошел здоровенный детина кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнем. Удары ремня привели избитого в чувство, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней черной тушью. Еще один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку — в старом национальном театре злодеев гримировали белым..."

Читаю дальше: "В тот же день я возвращался из клуба советского посольства. Собрание перед библиотекой продолжалось. Осужденные по-прежнему стояли шеренгой, у самого края ramпы, держа на вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих «преступлений». Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Я был настолько потрясен этим зрелищем, что не удержался и спросил стоявшего рядом паренька с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой, вот они и падают, — охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами. — Только их нечего жалеть. Ведь это черные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь черное царство. Зато теперь пришло время и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещенную ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг них, пряжки ремней поблескивали в лучах света, а возбужденная толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша!" (- Смерть! (китайск.))

Все это происходило в том самом Педагогическом университете, где я пережил одни из самых светлых минут своей жизни.

Едва ли не всю жизнь меня отравляла загадка дяди Паши и Якушина. Учился в институте, спорил до хрипоты о судьбах человечества, читал умные, выстраданные книги, ездил по стране, сам стал писать книги и всегда помнил рвущийся крик Вилли.

Были же добры в землянке эти дядя Паша с Якушиным. Что за нужда им притворяться. "Душевный человек Вилли..." И: "Братцы! Воду! Живьем его!"

Доброта и лютая жестокость — как это может находиться в одной шкуре? Когда дядя Паша и Якушин были сами собой — в землянке или у колодца?

Кто они, собственно, — люди или нелюди?!

Там, у колодца, озверела целая толпа. И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: "Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа!" Требуем смерти, жаждем крови! Нет, нет! Дядя Паша и Якушин — не случайное уродство, к ним применимо избитое выражение "типичные представители".

По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовется Великим Русским народом, за которым всеми признается широта и доброта души!

Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать себе вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь, — люди или нелюди?!

Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!

Подозреваю: такой же вопрос может задать любой и каждый человек на планете о своем народе.

7

В Кремлевском зале шел III съезд советских писателей. Выступал сам Хрущев, учил писателей, как надо писать и о чем писать.

Рядом со мной сидел сотрудник отдела культуры ЦК Игорь Черноуцан и растерянно крутил головой.

— Ни одного слова. Ну, ни одного...

Как и положено, выступление было заранее запланировано и подготовлено. Сейчас Черноуцан слушал своего высокого хозяина,

изумленно крутил головой и тихо сетовал — ни слова из написанного Хрущев не произносит, вдохновенно импровизирует. И куда только его не заносит, даже в поэзию. Вспомнил неожиданно некоего Махотько, шахтера, писавшего стихи в отдаленные времена хрущевской юности. Перед избранными писателями страны с энтузиазмом были прочитаны махотькинские шедевры. Кто-то стыдливо клонил голову долу, кто-то пожимал плечами, кто-то ухмылялся про себя, ну а кто-то ликующе взрывался аплодисментами, вскакивал с места, чтоб его ликование не осталось незамеченным.

Впоследствии газеты устроили усиленную облаву на этого Махотько, хотели напечатать, прославить, прочесали страну во всех направлениях и... не нашли. Подпочвенный поэт, шахтер Махотько оказался странным мифом. Многие заподозрили — уж не сам ли Хрущев легкомысленно грешил в молодости стихосочинительством, застенчиво прикрывшись сейчас псевдонимом?

Хрущев наконец иссяк и сошел с трибуны. Казалось бы, после Юпитера и боги и смертные должны молчать, следует объявить долгожданный перерыв. Ан нет, слово предоставляется Корнейчуку. И тот, захлебываясь от восторга, в течение двадцати минут с упоенным усердием, по-лакейски грубо поет аллилуйю Юпитеру:

— Историческая речь Никиты Сергеевича... Мудрое слово Никиты Сергеевича... Мы все потрясены... Мы прозрели...

Тут уж стыдно было, кажется, всем без исключения, и тем, кто сидел в президиуме рядом с Хрущевым, и тем — кто в зале. Клонились ниц, прятали глаза, не вскакивали с мест в ликованиях. Не испытывали стыда только двое — вдохновенный Корнейчук и сам Юпитер. Хрущев сидел с горделивой осаночкой, высоко держал голову, величаво взирал — очень, очень ему нравилось!

С должным запалом, с приличествующим — до мокроты в голосе — проникновением Корнейчук произнес здравицу и с чувством исполненного долга ретировался. Перерыв! Расходитесь! Э-э нет, погоди — еще один ритуал.

Хрущев занимает место на выходе, и каждый из членов президиума съезда, проходя, обязан с изъявлением чувств пожать ему руку. Тут уж — кто во что горазд, со всей изобретательностью.

Почтенный глава Союза писателей Константин Федин с картинной благоговейностью берет за руку Хрущева и сгибается — раз, другой, причем поразительно низко, к самым хрущевским коленям. Рука в рукопожатии оказывается намного выше седого затылка. Какая, однако, гибкая спина у этого старейшего писателя, воистину резиновая.

Леонид Соболев, напротив, жадно хватает руку Хрущева обеими руками и трясет, трясет, столь судорожно, что сам весь жидко трясется. Трясется и приседает в изнеможении, набирается усилий, разгибает ноги и снова трясется, снова обессиленно оседает... Уф! Наконец-то кончил, испарился.

Не столь приметные члены президиума — из союзных республик — подкатывали бочком, коснувшись руки, обмирали и ускользали.

Александр Твардовский с подчеркнутым достоинством подошел, с подчеркнутой вежливостью пожал руку — не задержался.

И вот сцена опустела, на ней остались только двое — Хрущев, дежурящий у входа, и в самом дальнем углу Валентин Овечкин, с прядью, уроненной на лоб, с поднятыми плечами. Он что-то не торопился подыматься. А Хрущев ждал, не уходил.

Делегаты съезда, дружно освобождавшие зал, замешкались, кто застыл в охотничьей стойке, кто опускался на первое же попавшееся место, выжидательно тянул шею.

Овечкин в углу, недвижимый Хрущев у входа — руки по швам, спина деревянно пряма, живот подобран, лоб бодливо склонен. Томительная минутка...

Но вот Овечкин решительно встает, напористо идет к выходу. Выход загорожен, и Овечкин останавливается.

Склоненный лоб против склоненного лба, коренасто подобранный Овечкин и тяжеловесно плотный, взведенный Хрущев, у обоих руки по швам. В двух шагах, глядят исподлобья, не шевелятся.

Овечкин дернулся, плечом вперед, с явным намерением прорвать осаду. И Хрущев не выдержал, поспешно, даже с некоторой несолидной суетливостью вскинул руку. Овечкин походя потрянул ее и исчез.

Я, веселясь про себя, направился в гостиницу «Москва», где остановился Овечкин.

Не скинув пиджака, он ходил по номеру, раздраженно зелен, мелкие, обычно рассеянно добрые глаза сейчас колючи, в углах губ жесткие складочки.

— Ты что комедию ломаешь?

Он пнул монументальный плюшевый стул старой гостиницы.

— Комедию начал он!

— Напоминало ребячью игру в гляделки — кто кого?

— Знает, что мне противно жать ему руку, оттого-то и ждал — пугану, мол, в штаны наложит.

— Ты что, объявлял ему об этом «противно»?

— Письма писал.

— Насчет рукопожатия?

— Насчет всего. В открытую! Без беллетристики. Сначала писал вежливо, потом сердито, а уж последние письма — матерные! Писем двадцать пять! Не могли они мимо пройти, особенно последние — показали, не сомневаюсь! И ни на одно!.. Ни на одно не ответил!

— Рассчитывал его образумить?

Овечкин яростно повернулся ко мне, схватил за лацканы пиджака.

— А на что можно рассчитывать стране? На какую силу?! На крикунов, которые снова готовы звать Русь к топору? Не хватит ли играть в эти игрища? От них только реки крови да кровавые болота! Снова старым голосом петь: "Весь мир насилья мы разрушим!.." Разрушим, но не построим! От змеи змея рождается, от насилия — насилие! Хочу силу направить на разумное! А у нас теперь есть одна сила — власть!

— Считаешь — власть может все?

Овечкин выпустил из рук мой пиджак, устало сел.

— Все, — сказал он тихо и убежденно. — Даже больше, может и невозможное.

— Например?

— От примеров деваться некуда. Взбалмошный человек заставляет: делай, страна, что моя левая нога захочет! Прикажет на Луне сеять кукурузу — будем! Сам по себе он бессилен, а его власть сильна. Ее бы направить на полезное дело!..

— У любого из русских царей было, ей-ей, не меньше власти — самодержцы всея Руси! — напомнил я. — А могли бы они заставить сеять кукурузу?

— Хреновые, видать, самодержцы. Четыре царя, начиная с Екатерины, картошку вводили. Восемьдесят лет волынили — льготы, премии, бунты усмиряли. И ввели потому только, что в конце концов

мужик разнюхал — полезна картошка. А кукурузу за Полярным кругом — нет уж, жидковаты самодержцы!

— Бунты усмиряли... А у нас, заметь, без всяких усилий — не только бунтов, маломальского непослушания не было. С какой стати ты нашей власти приписываешь силу, которой она и не применяла. На чем ты ее сумел увидеть?

Он долго молчал, смотрел в окно на рыжую кремлевскую стену, дыблящуюся из зелени Александровского сада.

— Знаешь, — глухо произнес он наконец, — это страх! Дикий страх перед властью, убивающий рассудок.

— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно... Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как бы "черный ворон" ночью не выгреб из постели к следователю, который прежде, чем ушлет за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком.

— Да страх ли? — усомнился я. — Припомни сам, как люди во времена "черных воронов" бесновались на собраниях. Скажешь, не было восторга в этих беснованиях? Искреннего восторга, поклонения перед жестокостью. Да я подростком сам его переживал, видел — переживают и взрослые. От страха ли такая искренность?

Овечкин молчал, смотрел в гостиничное окно на кремлевскую стену. Лицо его было каменно, и только подобранные губы судорожно напряжены. Он молчал, значит, признавал мою правоту, иначе уж обрушился бы с возражениями. Он молчал и, кто знает, не вспоминал ли, что сам верил и восторгался. Унизительные воспоминания — кто из нас может избежать их?

Поддержанный его молчанием, я решился на крамольное:

— Мы считаем, что "черные вороны" Сталина — причина испорченности народа. Страхом, видите ли, заразили, поколения должны вымереть, чтоб исчез сей порок. А может, все наоборот — оттого и

"черные вороны" стали рыскать по ночам, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью, той же рабской трусостью.

Овечкин резко повернулся ко мне.

— Думай, что говоришь! — почти с угрозой.

— То есть не святотатствуй! — подсказал я с вызовом.

— На народ списывать?!

— Ну да, народ же свят и чист! Совесть его — запредельна, воля — несокрушима, мудрость — непостижима. И вот почему только те, у кого нет ни совести, ни воли, ни мудрости, подчиняют, извращают столь сильный и святой состав человечества?

Овечкин закричал:

— Списывать на народ!.. На на-род!! Все равно, что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как можно жить с таким бессильем? Жить и еще писать книги!

Он был прав — жить трудно. И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову. Пуля, задев мозг, выбила глаз. Овечкин остался жить.

Из Курска, из центральной России, которую столь хорошо знал и любил, изувеченный и больной, он уехал в Ташкент к сыновьям... Там и умер, неприкаянный, забытый, непримиримый.

Наш спор с ним так и остался незаконченным.

8

Но я продолжал спорить с самим собой — все эти шестнадцать лет после разговора в гостинице «Москва». И образ дяди Паши мучил меня — "типичный представитель"? Жестокая загадка.

— Народ — стихия. Не столь ли бессмысленно упрекать его, скажем, в жестокости, как разверзшийся вулкан?

— А, собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ никогда не бывает. Во все времена, любой народ представлял из себя определенное устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История слагается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Не верно уже потому, что человек постоянно вынужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное.

— Например?

— Примеры на каждом шагу. Вот хотя бы самый бытовой, незначительный... По дороге с работы мне нужно зайти в магазин, купить колбасы к ужину. А к продавцу очередь. Я устал, я голоден, мое насущное желание — поскорей попасть домой, поужинать, растянуться па диване. Но я становлюсь в очередь, жду, вынужден пропускать вперед себя других, терять время, поступать вопреки своим желаниям.

— Какое это имеет отношение к истории?

— Иллюстрирует на малом, что человек крайне зависим в своих поступках, не хозяин сам себе.

— Открыл Америку!

— То-то и оно, что всем это известно, глаза намозолило, но странно — никто не принимает этой очевидности в расчет. А ведь, кажется, ясно — если все так зависимы даже в столь мелких человеческих построениях, как очередь к прилавку с колбасой, то уж, наверное, грандиозные общественные построения еще с большей силой должны заставлять любого и каждого поступать против своих интересов, против личных желаний. История слагается из действий личностей. Как бы не так! Сами-то личности действуют не самостоятельно.

— Так кто ими крутит? Господь бог?

— Устройство общества.

— Но общество-то устроено из чего? Из людей же, из отдельных личностей!

— Почка и мозг тоже построены из одних белковых веществ, да по-разному, а потому различно и функционируют. В США живут такие же люди, но представить себе нельзя, чтоб там могла развернуться широкая кукурузная кампания. Все понимали: вредно, бессмысленно сеять эту южную культуру в Приполярье, а сеяли — массовый идиотизм!

Нельзя же допустить, что русские от природы дурей американцев. Устройство иное, иное и поведение людей.

— Значит — каково устройство, таковы и люди?

— Ну, а как объяснить чудовищную жесткость дяди Паши у обледенелого колодца? Тоже система заставила?

— Да. Начать с того, что дядя Паша и Якушин находились в весьма своеобразном человеческом устройстве, именуемом действующим фронтом, где одни людские вооруженные массы расположены против других вооруженных масс. Одно это противорасположение уже заставляет прятаться и выслеживать, защищаться и убивать, пребывать в постоянной настороженности и ожесточенности. Землянка на короткое время укрыла солдат от войны. Не надо прятаться, выслеживать, убивать. И дядя Паша с Якушиным на короткое время стали теми, какими были в мирной обстановке. Нет, они тут не притворялись добрыми. Они были ими!

А как ни жестока война, но и в ней существует свой предел жестокости. Обстоятельства на фронте обычно не складываются для солдата так, чтоб он ради выполнения приказа или спасения себя становился перед необходимостью изверски пытаться противника.

И вот ледяные колокола — случай необычный, из ряда вон выходящий, вызывающий необычные чувства. А они, в свою очередь, толкают и на необычные действия, причем направленные, требующие какой-то организации. Солдаты, сами того не желая, создали своеобразную карательную систему. Да, да, систему, где люди по-своему взаиморасположены и связаны — с добровольцами-исполнителями, с ведущими и ведомыми. Система действует, перевоплощает солдат в палачей. Дядю Пашу и Якушина в том числе.

— Ну и заврался. Сам сказал: сначала солдаты стали действовать, система сложилась потом в результате их действий. Значит, и палачами стали раньше, система в том не повинна.

— Ан нет, все-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос.

9

Автобус катит по московской улице — газетный киоск, убегающие вывески магазинов, громоздкий автокран у обочины, строительный новенький желтый забор, выпирающий на середину мостовой...

Неожиданно из-за забора с перекрестной улицы выскакивает такси. И... скрежет тормозов, как снопы под ветром, валятся друг на друга пассажиры в проходе. Тупой, с причмоком удар и крик женщины, гортанно-резкий, словно голос морской чайки.

В такси оцепеневший шофер, почти мальчишка — подрубленные бачки, нечесаная, по моде, волосня, невызревше угловатый профиль устремлен вперед, куда-то вдаль. За ним грузин в громадной плоской кепке-"аэродром". Он темпераментно крутит «аэродром», дергается всем телом на взирающего в неблагоприятную даль паренька, кипит. Удар пришелся на переднее крыло, крышка капота отскочила, в ней, изувеченной, живая дрожь.

После чаечного крика женщины в автобусе накаленная тишина, ни шороха, ни шевеления, лишь вливается влажная свежесть улицы в раскрывшиеся при ударе дверцы. Наконец прорезался густой, недовольный баритон:

— Сук-кин сын!

Сразу же въедливо тонкий, со слезной мокрецей голос:

— Сажает за руль сопляков!

И всколыхнулся оскорбленный, грозиво растущий ропот:

— Хорошо — без жертв.

— Как сказать, я вот по рылу получил.

— Ох, господи! Не отдышусь...

— Старую задавили.

— Без-зоб-разие!

Ропот выметает из автобуса одного из пассажиров. Он в жарко распахнутой дошке, в болтающемся на шее кашне, в посаженной на уши шляпе, выхватывает из кармана бутылку и начинает ею угрожающе манипулировать с приплясом:

— Т-ты! Опусто стекло! Т-ты! Ды-вад-цать пять человек из-за тебя, плюгавого, нервами сейчас оборвались! Может, тут такие едут, т-ты пальца их не стоишь!.. Опусто стекло! Я тебя бутылкой, бутылкой!..

Парнишка-шофер лишь втягивает свою волосатую голову в плечи и продолжает вглядываться в даль, с другой стороны дергается, крутит кепкой-"аэродромом" грузин.

А внутри автобуса растет раздражение — пассажиры зажигаются воинственностью человека с бутылкой:

- Ехали себе и — какой-то хмырь!
- Из-за него по рылу мне, могло и покалечить.
- Старую придавили чуть ли не насмерть.
- Ох, миленькие, не отдышусь...
- Врежь ему, врежь!
- Открой дверцу, лапоть! Вытащи!
- Не справишься — поможем!
- Кости пощупаем!
- Кос-ти! Таким головы отвинчивать!

И гневно краснеют лица, и расправляются плечи, и победные переглядки, и толкучка возле открытых дверей — дергаются, сучат ногами, готовы выскочить.

Человек с бутылкой, чужая поддержка, возбуждается до неистовства, пляшут ноги, разлетаются полы дошки, кашне сползает с шеи, вот-вот упадет, будет затоптано, и бутылка, отблескивая, крутится над шляпой, и голос тоньшает, рвется от злобы:

— Стекло! Кому сказано — опусти стекло! Все равно не спрячешься!
Бутылкой тебе! Бутылкой!

Играет спина под дошкой, сверкает бутылка, автобус подогревает:

- Врежь ему! Врежь!
- Крикни кацо, пусть дверку отомкнет.
- Ударь по стеклу, чего уж жалеть!

И человечек с бутылкой уже воеет нечленораздельно:

— У-о-х т-те-бя!!

Возле него вырастают два парня — простовато одеты, внушительно рослы, должно быть, рабочие с автокрана.

— А ну, раскудахтался!

— Человек влип, без тебя не сладко.

— Рад, скотина, чужой беде!

Бутылка опускается, перепляс замирает, в расхристанной фигуре ни тени неистовства, шляпа, натянутая на самые уши, ползет в плечи.

— Так ведь он что... аварию устроил!

— Без тебя разберутся, мотай отсюда!

В автобусе озадаченная заминка, все тянут шеи, недовольно разглядывают типа в распахнутой дошке, держащего в руке бытылку. И вновь густой недовольный баритон:

— Действительно.

Баритон не дозвучал, как уже подхватили:

— Что верно, то верно — у парня беда.

— Не расхлебается — затаскают теперь.

— Молоденький!

— Слава богу, без жертв — не посадят.

— Зато влетит в трудовую копеечку — машину-то гробанул.

И как прежде — грозиво растущий ропот:

— Бутылку выхватил!..

— Нализался, скотина!

— Ему бы бутылкой по шляпе!

— Эй вы! Врежьте ему! Врежьте!

Те же самые люди, теми же голосами.

— Видишь, какие фортели выкидывает толпа. А что если предположить, что в автобусе, не считая выскочившего человека с бутылкой, находился всего один пассажир. Так ли бы он вел себя?

— Смотря какой по характеру. Импульсивный, наверное, так же бы возмущался.

10

— В том-то и дело, что не так, не столь бурно. Даже самый импульсивный. Он бы, конечно, возмутился, однако на его возмущение никто бы не откликнулся, оно не получило бы поддержки, не подогрелось бы, не стало расти дальше, не достигло степени той активности.

— Хочешь сказать, что и дядя Паша, столкнувшись он с колоколами в одиночку, не дошел бы до жестокой крайности?

— А разве можно в этом сомневаться? Казнить человека, да еще таким страшным способом, взять на себя (только на себя!) тяжелую ответственность — нет, тут надо быть патологическим садистом. Дядя Паша им не был — нормальный человек, мог поделиться пайкой хлеба с товарищем, наверное, с риском для жизни мог вытащить из-под огня раненого — человеческое ему присуще.

— То-то и страшно — человеческое присуще, а поступить бесчеловечно способен!

— Не сам по себе, только в компании. Толпа вокруг ледяных колоколов распалила себя, стала той благоприятной средой, где страшный процесс трансформации человека в садиста мог дозреть до конца.

— Почему же тогда ты в этой толпе не дозрел? И вообще не кажется ли тебе, что ты своими рассуждениями убиваешь личность? Человек живет в окружении других людей, как правило, выстроенных в какой-то порядок, а значит, воздействующих на отдельного человека, направляющих его поступки. А действует ли когда-нибудь человек, как того ему хочется? Бывает ли он сам собой? Имеет ли право называться личностью?

11

Личность — тема, не одного меня пугающая своей непосильной сложностью. Формирование личности, ее восприимчивость, зависимость, эмоциональные и рациональные особенности... великие умы блуждали тут, как в лесу, не добираясь до заповедных ответов.

Нет, не решусь влезать в личность и свою дремучую некомпетентность могу компенсировать одним — рассказать случай, который, как мне кажется, существенно «подправил» мое «я».

Случай внешне незначительный, но для меня постыдный. Было время — думал, что не сообщу его ни матери, ни брату, ни жене, ни детям своим, сам забуду, погребу в глубине души. Но вот, считай, прожил жизнь, и, кажется, она дает мне право быть предельно искренним — открывать то, что обжигало стыдом за себя.

Маршевая рота шла на фронт. Тусклую, высушенную, безнадежно бескрайнюю степь накрывало вылинявшее необъятное небо. Иногда в нем появлялась «рама» — немецкий двухфюзеляжный корректировщик. Не торопясь, не прячась, с хозяйской деловитостью, нарушая нутряным урчанием моторов тихую грусть осеннего воздуха, «рама» кружила над землей. Сотня захомутанных в шершавые скатки солдат, растянувшихся по дороге, не привлекала ее внимания — не дислокация войск, не переброска техники, так себе блукающие.

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой в селе Пологое Займище. Мы, это так — мусор отступления, остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки, ватные ноги и головокружение от голода и с утра до вечера ненужная маршировка с деревянными, грубо выструганными из досок ружьями:

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!..

Отправку на фронт встретили с радостью.

Лейтенант, которому была вручена маршевая рота, сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвертый день никто ничего не ел. Шли, и падающих помкомвзводы подымали сапогами...

Еще в Пологом Займище я сошелся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вместилась в одно слово — «находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение — нет во всех вооруженных силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.

Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истощенные, движущиеся, как тени, мы уже не в

состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.

Очередной хутор на нашем пути, населенный не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни — ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.

— Ладно, ладно вам! Понимать должны — от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке... Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

Дом с невысоким крылечком. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина. Мягкий пахнущий хлеб!

В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем — "Давай ты!" — у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей — где уж мне...

Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость — не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: "Э-э, да ты, брат, не лапоть!"

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом все отчетливее осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет — я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько

минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случилось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным, и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание — надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — рыбацкое воровство! — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.

Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолеты, шальной осколок — и меня нет. Смерть — это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Да ты что — за дурака меня считаешь?

Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни — почему, оправдывайся...

— Где?!

Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.

— Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил — полбуханки тут было! На ходу тиснул!

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

Я окаменело молчал.

И тогда взорвались молодые:

— У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!

— У голодных из горла!

— Он больше нас есть хочет!

— Рождаются же такие на свете...

Я бы сам кричал то же и тем же изумленно-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.

— А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!

И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:

— Гляньте: пялится, не стыдится!

— Да какой стыд у такого!

— Ну и люди бывают...

— Не люди — воши, чужой кровушкой сыты!

— Парень, повинись, лучше будет.

В голосе пожилого солдата — крупца странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя... Руки пачкать.

А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: "Бить тебя — руки пачкать!" Каждый из обступивших меня по своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей — я безобразный.

— Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.

Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.

— Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе — не жди — не отколется.

Он отвернулся к плащ-палатке.

Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом, — он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!

На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех — лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.

Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбочке, и угловатый кавказец, полфизиономии погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.

— Братишечка, — осторожным шепотком, — ты зря тушуешься. Три к носу — все пройдет.

— Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!

— Ты нам скажи — где? Тебе-то несподручно, а мы — мигом.

— Дэлым на тры, па совесты!

Я послал их, как умел.

Мы шли еще более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый... Но встречались и некрасивые.

Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец — да, шакалы, но все-таки они лучше меня — имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.

Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего — молод, растерзан, рожа полосатая от грязи, от слез, от распущенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» — это чаще бывает не от физической немочи, от ужаса перед приближающимся фронтом. Но и этот лучше меня — «оклемается», мое — непоправимо.

На повозке тыловик старшина — хромовые сапожки, ряха, как кусок сырого мяса, — конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.

А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбежку) — счастливей меня.

Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни всякое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда поступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе — такого не помню.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе, — потенциальный самоубийца.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост, — убьют, пусть, нисколько не жалко. Самоубийство на фронте — зачем, когда и так легко найти смерть.

Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не

претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Странно, но окончательно излечился от презрения к себе я лишь тогда, когда... украд второй раз. Наше наступление остановилось под хутором Старые Рогачи. Посреди заснеженного поля мы принялись долбить землянки. Я и направился на кухню с котелками. И возле этой, запряженной унылыми лошаденками, дымящейся кухни я заметил прислоненное к колесу ветровое стекло от немецкой автомашины. Кто-то из солдат раздобыл его, услужливо принес повару за лишний котелок кулеша, пайку хлеба, возможно, и за стакан водки. Мне налили в котелки похлебку, и, отправляясь к своим, я прихватил ветровое стекло. Моя совесть на этот раз была совершенно спокойна. Повар и так был наделен благами, какие нам могли только сниться, он не ползал по передовой, не рисковал жизнью каждый день, не ел из общего котла и землянку сам не долбил, за него это делали доброхоты, которых он прикармливал. И стекло это повар оплатил из нашего солдатского кошта, нашим наваром, нашей водкой. Услужливый солдатик за стекло свое получил — обижаться не мог, — а сам повар на стекло прав имел не больше, чем я, чем мои товарищи. Я же самоутверждался в своих глазах: чувствую, что можно, а что нельзя, подлости не совершу, но и удачи не упущу, перед жизнью уже не робею.

В обороне под Старыми Рогачами мы жили в светлой, с окном — моим стеклом — в крыше, землянке — роскошь, не доступная даже офицерам.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

12

Украденный у голодных товарищей хлеб — лично для меня случай, наверное, даже более значительный, чем страшный эпизод у обледенелого колодца. Дядя Паша и Якушин заставили меня тревожно задуматься, украденные полбуханки хлеба, пожалуй, определили мою жизнь. Я узнал, что значит — презрение к самому себе! Самосуд без оправдания, самоубийственное чувство — ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при этом испытывать радость бытия? А существовать без радости — есть, пить, спать, встречаться с женщинами, даже работать, приносить какую-то пользу и быть отравленным своей ничтожностью — тошно! Тут уж единственный выход — крюк в потолок.

Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал — это пройдет, это не пройдет, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом. Молчащий писатель вдумаемся! — дойная корова, не дающая молока.

И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе.

Не случись истории с украденным хлебом, я бы, наверное, не насторожился сразу, продолжал перед собой оправдывать свое угодливое умолчание, пока в один несчастный день не открыл себе — жизнь моя мелочна и бесцельна, тяну ее через силу.

Всех нас жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения, через детское «пожалуйста» — нормы человеческого общения.

Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться.

13

В Москве проходило очередное помпезное совещание писателей, кажется, опять съезд. Я собирался на него, чтоб потолкаться в кулуарах Колонного зала, встретить знакомых, уже натянул пальто, нахлобучил шапку, двинулся к двери, как в дверь позвонили.

На пороге стоял невысокий человек — одет вполне прилично, добротное ширпотребовское пальто, мальчишковая кепочка-"бобочка", пестрое кашне. И лицо, широкое, скуластое, с едва уловимой азиатчиной, снующий взгляд черных глаз. Из глубины моей биографии, из толщи лет на меня поплыли зыбкие, еще бесформенные воспоминания.

— Узнаешь? — спросил он.

— Шурка! Шубуров!

— Я. Здравствуй, Володя.

Ни мало ни много, тридцать лет назад в селе Подосиновец мы сидели с ним за одной школьной партой. Он скоро бросил школу, исчез из села.

А несколько лет спустя просочился слух — гуляет по городам, рвет, что плохо лежит.

В первые дни войны один из моих знакомых, возвращавшийся в село через Москву, встретил Шурку на Казанском вокзале. Тот был взвинчен, даже не захотел разговаривать, несколько раз появлялся и исчезал, крутился вокруг грузного мужчины с маленьким потрепанным чемоданчиком.

Наконец Шурка надолго исчез, появился лишь к вечеру, в руках его был потертый чемоданчик.

— Пошли!

Завел в глухой закуток, стал лицом к стене.

— Гляди, да не вякай. Кабана подоил.

Он приоткрыл крышку, чемодан был набит пачками денег.

Мой приятель любил присочинить. Чемодан, полный денег, — эдакая традиционная оглушающая деталь ходячего мифа об удачливом воре. Скорей всего, баснословного чемодана не было. Шурка Шубуров работал скромнее.

Вот он с прилизанными волосами, в тесноватом пиджачке — скромн и приличен — сидит передо мной. И легкий шрамик на скуле под глазом — знакомый мне с детства.

— Давно завязал. У меня семья, двое детей, квартира в Кирове, но жизни нет, съедают, не верят, что жить по-человечески могу.

Он скупенько рассказал, что прошел по всем лагерям:

— По колено в крови, бывало, ходил...

Лет восемь назад он отбыл последний срок и... жить негде, жить не на что, на работу никуда не принимают, прописки не дают. Бродил по Москве, не зная, куда прислонить голову — с вокзалов гнали, с отчаяния решился: пришел на Красную площадь и направился прямо в Спасские ворота Кремля. Его остановила охрана:

— Куда?

— К Никите Сергеевичу Хрущеву. Не пропустите — здесь лягу, идти мне некуда. Или берите обратно, откуда пришел.

Лечь ему под Спасскими воротами не позволили, забрать обратно не решились — за старую вину отсидел, новой еще не приобрел. Его начали передавать с одной охранной инстанции в другую, и везде он твердил одно:

— Хочу встречи с Никитой Сергеевичем. Кроме, как у него, правды не найду.

Раскаявшийся преступник, жаждущий ступить на путь добродетели, еще во времена, когда рыскали "черные вороны", вызывал симпатии, прошел косяком по нашей литературе, выдавался за образец высокого человеколюбия: "Ни одна блоха не плоха!" Жестокость редко обходится без сентиментальности. И это-то помогло Шурке Шубурову. Охранные

органы прониклись сочувствием настолько, что доложили о нем, бывшем воре, желающем стать честным советским гражданином, Хрущеву. А уж тот кинул через плечо: помочь! И Шурку ласково, почти с почетом отправляют в главный город той области, где он родился, там его ждет квартира, предоставляется работа. Но...

— Съедают. Не могут простить — Хрущев мне помог.

Нельзя не верить — теперь все, что связано с ниспровергнутым главой, вызывает недоверие и вражду. Нельзя и забыть, что сидел с ним за одной партией, шрамик на скуле — не след лагерной жизни, помню его с детских времен.

Но как и чем помочь? Я не Хрущев, кинуть через плечо — помогите! — не могу. Но есть какие-то знакомые в Кирове, не попробовать ли действовать через них?

— Знаешь, я без копейки. А здесь жена и дети...

У меня в эту минуту в кошельке только двадцать пять рублей. Договариваемся о встрече — выясню, заручусь поддержкой, отправишься обратно, ну, а о деньгах на дорогу не беспокойся.

Друг детства, натянув свою кепочку, уходит от меня.

Через час я в Колонном зале, встречаюсь с писателем из Кирова, на помощь которого рассчитываю. Он уже знает о появлении в Москве Шурки Шубурова, Шуркина жена нашла его на совещании, пожаловалась на безденежье, взяла... двадцать пять рублей.

Жена с детишками на следующий день приходит ко мне на дом, но меня не застает. Мои домашние, как могли, обласкали ее, посадили за стол, умилялись детишками, снова дали денег.

А спустя еще день или два я получаю по почте извещение — явиться к следователю в одиннадцатое отделение милиции, что находится рядом с ГУМом.

Следователь милиции, молодой человек со значком юридического вуза в петлице, объявляет: Шубуров арестован в ГУМе — залез в карман. Мелкое воровство осложняется воровским прошлым.

— Провинция, — не скрывает следователь своего презрения. — В ГУМе стал промышлять. Масса народу, толкучка — удобно, а не знает, что где-где, а уж тут-то следят вовсю — не развернешься. В его кармане найдены деньги — восемнадцать рублей, указывает на вас — дали вы.

— Дал.

Я рассказываю о нашей встрече, подписываю протокол, прошу следователя: не нарушая законности, проявить снисходительность и человеческое понимание — двое детей на руках и, вполне возможно, вернуться на прежний путь вынудила его травля, которой он подвергался в родном городе.

Следователь обещает мне, но без особого энтузиазма:

— Право же, мало чем могу помочь. Схвачен на преступлении, заведено дело — не прикроешь. Разрешите, я распишусь на повестке, иначе вас отсюда не выпустят.

И действительно, милиционер с монументальной фигурой и сумрачной физиономией, стоящий у выхода, придирчиво и подозрительно оглядывает меня с головы до ног. Не то место, где оказывают доверие.

Я чувствовал себя пакостно, словно Шурка попытался обворовать не какого-то неизвестного покупателя в ГУМе, а меня. Зачем ему это было нужно? Какие-то деньги он имел, голодным не был, знал, что скоро встретимся, мог рассчитывать на мою помощь.

В толкучке прохожих на людной Октябрьской улице, неся досаду и недоумение, я вдруг подумал: Шурку уж наверняка не раз уличали, как меня с украденным хлебом, и он снова и снова повторял тот же номер. Значит, не проникался к себе самоубийственным презрением — проходило мимо, ничуть не задевало.

Жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения...

А чему я, собственно, удивляюсь: из многих миллионов только один человек оказался столь чуток, что заметил в упавшем яблоке всемирно масштабное. Мне доступно такое? Ой нет.

Все люди сходны друг с другом, никто не может похвастаться, что имеет больше органов чувств, принципиально иное устройство мозга, любой про себя может сказать: "Ничто человеческое мне не чуждо". Но как эти люди не похожи, как по-разному они глядят на мир, различно чувствуют, различно поступают.

Никак не проникнемся азбучным: личность по-своему воспринимает мир.

Сколько личностей — столько миров!

Хотелось бы знать: а как случай у обледенелого колодца подействовал на дядю Пашу? Изменился ли он после своего

палачества? Может, стал садистом или, напротив, казнит себя за содеянное?

Навряд ли, скорее всего остался прежним. Если уцелел на войне, то теперь он уже почтенный старик. Прожил жизнь, родные и знакомые, наверно, не считали его злым человеком.

14

Во мне обнаружилось нечто мое личное лишь после того, как я, голодный, столкнулся из-за полбуханки хлеба с голодными товарищами.

Кто я таков? Каковы мои личные качества? Я это могу узнать только тогда, когда соприкоснусь с окружением, почувствую на себе его влияние.

Бессмысленно говорить о личности, отрывая ее от окружающей среды. Без нее личность просто не проявится.

А для любого и каждого самой существенной частью окружающей среды является его человеческое окружение, всегда каким-то образом построенное.

Каждый реагирует на него по-своему, не похоже на других.

И каждый находится от него в зависимости.

Зависимость еще не значит обезличивание. Наоборот, влияние человеческого окружения и открывает уникальные особенности отдельного человека.

Ты среди масс порождаешь меня. Я в числе прочих — тебя.

До сих пор мы рассматривали случаи, когда массы дурно влияют на личность. Однако бывает же и наоборот.

В конце августа 1947 года я возвращался из своего села, где проводил каникулы, снова в институт. В Кирове — пересадка на московский поезд.

Еще страна не улеглась после войны, еще продолжали возвращаться и эвакуированные, и демобилизованные, и партии вербованных рабочих катили — одни на восток, в Сибирь, другие — на запад, в разрушенные войной области, и соединялись разбросанные семьи, и началось уже бегство из голодных деревень, и потоки командированных... Великая страна кочевала, заполняя вокзалы пестрым народом, спящим вповалку, мечущимся, голодающим, напивающимся, страдательно мечтающим об одном — о билете на нужный поезд!

К окошечку билетной кассы выстроилась огромная, через всю привокзальную площадь, очередь, тревожно колышущаяся и в то же время обреченно терпеливая, охваченная зыбкими надеждами. Все надеяться не могли — очередь слишком велика, билетов выбрасывалось слишком мало. Растянутый хвост гудел от сдержанных голосов, там сочинялись легенды: "Могут пустить "Пятьсот веселый", дополнительный поезд с товарными вагонами, тогда-то уедем все..." Творили легенды и тут же опровергали их: "Пятьсот веселый" в столицу?.. Не ждите, Москва «веселые» поезда пропускает стороной". Хвост очереди шумел, с легкостью отказывался от надежд, а голова — отрешенно молчалива, замороженно неподвижна. Здесь в счастливой близости к закрытому окошечку кассы стояли те, кто выстрадал это счастье несколькими сутками вокзальной жизни, кто в этой очереди коротал бессонные ночи, много раз впадал в отчаяние, истерзан, изнеможен, держится из последних сил, полон сомнений, не верит уже в удачу. Очередь через всю пасмурную, мокрую от дождя площадь — парад ватников, брезентовых плащей, шинелей со споротыми погонами, платков, кепок, меховых не по сезону шапок, громоздких мешков, чемоданов, вместительных, как сундуки, сундуков, приспособленных под чемоданы.

Наконец голова очереди, стоявшая вблизи окошечка в отрешенном очоении, вздрогнула, подалась вперед, и дрожь прошла по всей длинной очереди, подавив смех, смыв улыбки, оборвав на полуслове разговоры. Касса открылась! И перекатный ропот от начала в конец, удивленный и недовольный — кассирша вывесила цифру мест, предназначенных для распродажи. Роптать не было ни нужды, ни смысла, без того каждый знал — на всех не хватит. И ропот быстро сменился деловым шевелением.

Середина очереди, ее обильное туловище, выслала незамедлительно вперед своих делегатов-добровольцев, чтоб досматривали и не пускали ловкачей, желающих просочиться к заветному окошечку. Сразу же среди пятка решительных делегатов, в те минуты, пока они шагали к голове, выделился атаман — дюжий парень, кубаночка венчает рубленую физиономию, напущенный чуб, нахальные глаза, золотой искрой зуб во рту.

— Стройся! Стройся по порядку! — напористым старшинским тенорком начал командовать он. — Вы, гражданочка, стояли тут или только приклеились? А то мы можем и за локоток. У нас быст-ра!..

Но ему сразу же пришлось почтительно отступить перед плечом с малиновым погоном, перед фуражкой с малиновым верхом — железнодорожный милиционер с дремотно недовольным лицом бесцеремонно растолкал очередь и кивнул молодой женщине:

— Сюда!

Втолкнул ее третьей от окошечка.

Женщина была нищенски одета, из просторного, с мужского плеча, затасканного ватника тянулась тонкая, беззащитная шея, щеки в нездоровой зелени, запавшие глаза в сухом беспокойном блеске, руки зябко прячутся в длинные рукава.

— Правонарушителей опекаешь, браток? — понимающе осведомился парень в кубанке.

Милиционер не счел нужным повести в его сторону даже бровью, все с тем же дремотным недовольством на лице, выражающим, однако, убежденность в своей силе и величии, удалился.

Парень долго и оценивающе изучал женщину, слепо глядящую перед собой, наконец авторитетно пояснил:

— Лагерная шалава, из заключения. Стараются сплавить быстрее, чтоб не шманала на вокзале.

— А выгодно, братцы, быть жуликом.

— Заботятся.

— Мы тут четвертый день околачиваемся, нас бы кто за ручку подвел.

С головы к хвосту по всей очереди потек недоброжелательный говорок:

— Попробовать тоже... авторитет заработать.

— Попробуй, тогда на казенный счет отправят.

— Только не в ту сторону, куда целишься.

— Это чтой там случилось?

— Да партию лагерных девок поставили в очередь.

— Ну-у, теперь нам еще сидеть.

— За нас лагерные сучки поедут!

— Ах, мать-перемать! Нет жизни честному человеку!

А парень в кубаночке ораторствовал, подогревал:

— Чей-то билет ей достанется! Может, мой, может, твой!.. Я за родину кровь проливал, а она державе пакостила. Зазря бы в лагеря не сунули. И вот ее берегут, а на меня плевать!..

Женщина молчала, напряженно распрямившаяся, с вытянутой из ватника бледной тонкой шеей, худое лицо безжизненно замкнуто, глаза прячутся в глазницах, только в неестественно вскинутых плечах ощущалось — все слышит, переживает враждебность.

Наконец два человека, стоявшие впереди нее, не участвовавшие в осуждении, получили свои билеты, с резвостью исчезли. Женщина пригнулась к окошечку кассы. И все кругом замолчали, только ели глазами ее спину в объемистом ватнике, уже не находили слов, чтоб выразить свою неприязнь и обиду. Даже парень в кубанке только сплюнул в сердцах.

Но что-то случилось возле окошечка, женщина задерживалась, волновалась, сдавленно объясняла.

— Ну, что там? Бери да проваливай! — не выдержал парень.

Мужичонка с лисьей физиономией и тяжким сидором на горбу, который, однако, не мешал приткой подвижности, сунулся сбоку, прислушался и откачнулся в ликовании:

— А у нее, ребятушки, денег-то нету! Торгуется — на билет не достает!

Парень в кубанке победно из-под чуба оглядел свое окружение, расправил плечи и крикнул уже по-начальнически:

— Пусть проваливает! Эй, кума, чисти место!

Женщина послушно откачнулась от кассы, серое в нездоровую зелень узкое лицо, плавящиеся в глубоких глазницах глаза.

— Не выгорело! — Парень показывал радостно золотой зуб, выпячивал грудь, чувствовал себя героем. — Сходи-ка с ручкой к тем, кто привел. Может, отвалят.

И женщина с трудом разлепила бледные губы:

— Смейся!.. К детям еду, сама больна... Нету денег, откуда?.. Сколько было — хранила, двое суток уже не ела... Смейся!

— Вот, вот, пожалуйста, а я пожалею, — парень, показывая золотой зуб, картинно поворачивался в разные стороны, ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова очереди не отозвалась, все угрюмо отворачивались. Отворачивались, не хотели знать чужой беды. Минутная неловкая тишина. Женщина грязным рукавом ватника досадливо смахивала слезы. И мужичонка с большим сидором глядел на нее, конфузливо мялся, побрякивал.

Из-за его спины — "ну-кося, расшарашился!" — вынырнула старушка, развязала платочек, скупенько заковырялась в нем сухонькими пальцами, протянула бумажку.

— Сколь не хватает-то? Немного, чай?.. Возьми, милая, может, еще кто даст. Больше-то не могу...

Старушка совала бумажку женщине, та слабо отмахивалась:

— Не, бабушка, что уж...

— Да бери, бери! Стыдного нет. Не все же без сердца — поймут...

Мужичонка с сидором решительно крякнул, с досадою полез за пазуху.

— И правда, девка, с миру по нитке — голому рубаха. Я тоже вот к детям еду, с гостинцами... Да бери ты, коли дают!

Женщина глядела в землю и не шевелилась, над впалыми щеками проступили два вишневых пятна. Чей-то густой решительный бас взорвался за платками и кепками:

— Чего вы как нищенке суете! Пройди кто по очереди да собери! Не откажут!

Парень в кубанке с размаху хлопнул себя по коленке:

— Вер-на! Организация нужна!..

Он сорвал с себя кубанку, достал из кармана пятирублевую бумажку, повертел ее перед толпой — любуйтесь, что жертвую! — шагнул к старухе.

— Кидай, бабуся, свой рублишко! И ты, дядя!.. Граждане! Кто сочувствует... Граждане! Не обременяя себя, так сказать, по мере возможности!.. Каждый может оказаться в стеснительном положении... Спасибо!.. Тронут!.. Еще спасибо...

Очередь уставших, издерганных людей, только что накаленных недоброжелательством, только что презиравшая эту приведенную милицией женщину, завидовавшая ей, считавшая едва ли не врагом, теперь охотно бросала в подставленную кубанку смятые деньги.

А женщина смотрела вниз, щеки ее цвели пятнами и блестели от слез.

Парень, раздумываясь, посверкивая зубом, прижимая кубанку, прошествовал к окошечку кассы, обернулся к очереди.

— Прошу кого-нибудь сюда — для контроля! Хотя бы ты, дядя, проследи: не для себя, пользуясь случаем, только для нее!.. Чтоб не было неприятных недоразумений, чтоб честно и благородно до конца!

И опять из-за платков и кепок прокатился давящий бас:

— Бери и себе заодно, раз так! Что уж, всех одним билетом не спасешь!

— Нет, я честно и благородно до конца!.. Ни в коем разе!

Женщина стояла, уронив вдоль тела рукава ватника, и плакала.

15

Парень в кубанке достал билет, сел в поезд. И что — стал другим, уже не хамовитым по натуре, а чутким? Наивно думать. Он остался прежним.

Но если он окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность.

Люби ближнего своего, не убий, не лжесвидетельствуй!.. Пророки и поэты, педагоги и философы тысячелетиями на разные голоса обращались к отдельно взятому человеку: совершенствуйся сам, внутри себя!

Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать, — но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет раболепствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе.

Благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали свое бессилие.

Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга в одиночку не существуем, — а потому самосовершенствование каждого лежит не внутри нас: мое — в тебе, твое — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?

1975 — 1976